

1. О звездах и о заслонке

«И не забывай, — говорил мне отец, как если бы ждал в любой момент, что вот сейчас я встану и пойду искать по свету счастья, — что бы ни пришлось тебе узнать о людях, какими бы дурными они ни оказались на поверку, у каждого из них есть сердце и каждый был когда-то крошечным младенцем и сосал материнскую грудь...»

Слова из волшебной сказки и совет из волшебной сказки. Но мы и жили в сказочных местах. В доме сторожа при шлюзе, у реки, в самой середине Фенов. Вдали от большого мира. И отец, а он был человек суеверный, во всякую вещь, во всякое дело любил привносить привкус тайны.

И волшебства. Даже верши на угрей он всегда ставил ночью. Не потому, что их нельзя ставить днем, а потому, что ночная темнота отзывалась в нем, в темноте была тайна. И как-то ночью, в тридцать седьмом, в середине лета, мы пошли с ним, Дик и я, ставить верши к Стоттову мосту. Ночь была безветренной и душной. Покончив с вершами, мы легли на берегу. Дику было четырнадцать, мне десять. Мерно перестукивали помпы, как обычно, без остановки, так что ты

едва их замечаешь, по всей округе, по всем Фенам, и в канавах квакали лягушки. Небо наверху кишело звездами, и звезд как будто становилось больше, когда ты на них смотрел. И пока мы там лежали, отец сказал: «Знаете, что такое звезды? Серебряная пыль благословения Божьего. Маленькие, стертые в порошок крошки неба. Господь их бросил вниз, чтобы они на нас упали. А потом и увидел, какие мы дурные, и передумал, и велел звездам остановиться. Вот потому-то они и висят себе на небе и вид у них такой, как будто вот-вот упадут, вот-вот...»

Потому как у отца, кроме того что он был человек суеверный, был еще и талант рассказывать истории. Придуманные и правдивые; чтобы успокоить и чтобы упредить; истории с моралью и истории вообще безо всякого смысла; истории правдоподобные и неправдоподобные; и еще такие, которые вообще никакому определению не поддавались. У них в семье все были рассказчики. Хотя ведь и у мамы был точно такой же дар, и очень может быть, что от нее-то он его и перенял. Потому что, когда я был маленький, истории мне рассказывала мама на сон грядущий. Вот только она их и сама выдумывала, и вычитывала из книг, отец же выдумывал все до одной.

А с тех пор как мама умерла, то есть за шесть месяцев до звезд и вершей, пунктик у отца насчет темноты, все это его полуночиество, как раз вошло в полную силу. Как будто он прокручивал, из ночи в ночь, какую-то историю, которую хотел и никак не мог рассказать. И время от времени я видел, как он бродит при свете луны по грядкам с овощами, или беседует со спящими на насесте курами, или ходит

туда-сюда по-над затвором шлюза с блуждающим угольком сигареты вместо топового фонаря.

Наш дом был дом зрителя при шлюзе, на речке Лим, которая берет свое начало в Норфолке и впадает в Большую Узу. И нет нужды объяснять, что земля в этой части света плоская. Настолько плоская, настолько монотонная и лишенная всяческого даже намека на рельеф, что, можно сказать, одной только этой монотонности достанет, чтобы лишить человека покоя и чтобы в голову ему по ночам вместо сна лезли всякие мысли. От забранных в дамбы, а потому приподнятых над нею берегов Лима она тянулась вплоть до горизонта и разнообразила главный свой цвет, торфяно-черный, исключительно за счет сельскохозяйственных культур — серо-зеленые листья картофеля, зелено-голубые листья свеклы, желто-зеленая пшеница; ее равномерная плоскостность была рассечена одними лишь глубокими, прямыми как стрела морщинами каналов и дренажных канав, которые в зависимости от погоды и от угла падения солнечных лучей бежали сквозь поля подобно сети то серебряных, то медных, а то и золотых тонких проводочек и которые, стоило вам только встать и приглядеться, неизбежно погружали вас в пучину бесплодных размышлений о законах перспективы.

И все же эта самая земля, такая расчисленная, такая распростертая, такая приведенная к порядку и возделанная человеком, в моей не то пяти, не то шестилетней душе преображалась в зачарованную пустошь. По вечерам, когда маме приходилось рассказывать мне на ночь истории, мне казалось, что мы в зрительском нашем доме затерялись в самой се-

редине великого Нигде; а клекот поездов, бежавших где-то вдалеке по рельсам в Кингз-Линн, в Гилдси или в Или, становился хриплым лаем чудища, которое, вынюхивая нас, рыщет в черной ночной пустоте.

Сказочная страна, если уж на то пошло.

Отец был смотрителем шлюза на речке Лим, в двух милях от места, где Лим впадает в Узу. Но поскольку работа на шлюзе была нерегулярной, а жалование у него, если, конечно, не считать бесплатного жилья, — более чем скромным и еще потому, что так или иначе, но к тридцатым годам речные перевозки на Лиме сошли почти на нет, отец помимо основной своей работы выращивал овощи, разводил кур и ловил угрей. И оставлял эти свои побочные занятия разве что во времена обильных ливней или, скажем, если выпадет и тут же растает сильный снег. Тогда ему приходилось отслеживать и регулировать уровень воды. И поднимать заслонку, дыбившуюся в дальнем рукаве подобием гигантской гильотины.

Потому что река у нашего дома делилась на два коротких рукава: на ближнем навигационный шлюз, на дальнем заслонка, а посередине мощный, выложенный по кромке кирпичом мол, целый остров, где стояла будка, а в будке был подъемник. И заранее, задолго до того, как река успевала набухнуть, и даже до того, как вода меняла цвет и начинала отдавать молочно-бурым тоном норфолкских меловых холмов, откуда она и текла, отец уже знал, когда ему нужно будет пройти над шлюзовым затвором к будке и — сквозь скрежет металла и мощную пульсацию воды — поднять заслонку.

В обычное же время заслонка была опущена едва ли не до самого речного дна, в обычное время ее негнущееся лезвие сдерживало воды вялотекущего Лима, делая реку судоходной. Тогда вода в затоне, в дальнем рукаве, совсем как в шлюзе, стояла спокойная и гладкая и издавала характерный запах мест, где сходятся свежая речная вода и простейшие формы человеческого существования, запах, которым веет над Фенами из края в край. Свежий, илистый, но и въедливый до крайности, до ностальгии запах. Запах, где от человека и от рыбы пополам. В такие времена у отца была масса свободного времени — на овощи и на верши — и работы у заслонки было не так уж и много, разве только воевать со ржавчиной, смазывать зубчатые колеса подъемника и выбирать из воды плавающий всякий хлам.

Потому что в половодье или в самую сухую сушь Лим тихо влек с собой свою добычу, разнокалиберную, разношерстную, и не видать ей ни конца ни края. Ивовые ветви; ветки ольхи; камыш; дреколье; планки; старую одежду;дохлых овец; бутылки; мешки из-под картошки; тюки соломы; ящики из-под фруктов; и еще другие мешки, от удобрений. И это все, плывущее по течению с востока и прибитое к дамбе, приходилось выбирать из воды — багром и граблями.

И таким же точно образом однажды ночью в середине лета, когда рассыпанная щедрою рукой и застывшая на полпути пыльца благословения божьего сияла в поднебесье — впрочем, с тех пор, как отец рассказал нам о звездах, прошло уже несколько лет, и он уже года два или три как начал говорить о че-

ловеческих сердцах и материнском молоке — а перестук насосов потонул ближе к вечеру в слитном реве заходящих на посадку бомбардировщиков — стоял, для большей точности, июль сорок третьего года — нечто, принесенное течением сверху, ударило о металлическое лезвие заслонки, а потом по прихоти водоворотов и вихревых подводных токов продолжало биться и скрестись об него до утра. Нечто необычное и доселе невиданное, от чего не отделаться, как от ветки, от мешка или даже от дохлой овцы. Потому как это нечто было мертвым телом. А тело вчера еще принадлежало Фредди Парру, который жил всего лишь в миле выше по течению и был мой ровесник плюс-минус месяц.

2. О конце истории

Дети. Дети, которые наследуют мир. Дети (потому что всегда, сколько бы вам, кандидатам на утешительное звание «молодых людей», ни было лет — пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, я про себя называл вас только «дети») — дети, перед кем я тридцать два года стоял, раскрывая тайны прошлого, и перед кем мне больше не стоять, послушайте в последний раз вашего учителя истории.

Прежде всего вы обязаны понять, что я ухожу от вас не по собственной воле. Вы обязаны понять, сколь бездарен, сколь безжалостен в поверхностной беглости своей был этот оборот, «по личным обстоятельствам», оборот, который наш премногоуважаемый директор Льюис Скотт употребил на утреннем общем собрании. И вы обязаны понять, насколько

неуместны и несвоевременны были принятые этим самым Льюисом во имя так называемой оптимизации учебного процесса меры и как все это было мимо цели. («Ты не подумай, что мне это нравится, Том, но нам приходится на чем-то экономить. Вот мы и экономим на истории. Ты ведь можешь раньше срока выйти на пенсию...»)

Вы обязаны понять, вы же сами свидетели: старый Крики, ваш учитель истории, в каком-то смысле давно уже перестал учить вас истории, и по своей, заметьте, воле. В самой середине монолога о том, как парижская резня ознаменовала собой рождение Современности, он оборвал себя на полуфразе и начал вам рассказывать эти вот самые истории. О том, как жили у реки, и об отце, который ставил верши, и о мертвом теле, найденном в реке годы и годы тому назад. И тут на вас снизошло озарение: да ведь никак наш Крики пытается вписать себя в историю; ваш старый Крики пытался дать вам понять, что он сам — всего лишь часть того, чему он вас учил. Иначе говоря, он сдвинулся, он повредился головой...

Или, как предпочел бы выразиться Льюис: «Наверное, тебе стоило бы отдохнуть. Возьмешь академ. А как насчет академического отпуска? Неплохая возможность поработать над этой твоей книгой — как бишь ее? — *История Фенов?*»

Но я предложения не принял. Потому что, когда это случилось, вы слушали, о, как вы слушали этот мой новоявленный курс истории. Вы внимали этим бредням, байкам старого Крики (взаправдашним? или он все это выдумал?) с таким интересом, какого престранным, ни-в-сказке-сказать-ни-пером-описать

чудесам времен Французской революции не дожидаться вовек.

И все же до определенной точки, до события даже более вывихнутого, чем новый стиль преподавания вашего учителя истории, до события, в котором основную роль сыграла его жена, миссис Крик, и из которого — с неизбежной иронией насчет профессии мужа — местная пресса, сами знаете, раздула невесть что, моя отставка не была еще, не стала, наконец, такой уж абсолютной необходимостью.

Жена учителя созналась в похищении ребенка. Мотив: «Я сделала это по велению Божьему».

Дети, ведь это именно один из вас, кудрявый парень с фамилией Прайс, имеющий обыкновение (противу всяких правил, но я закрываю глаза) накладывать себе на скулы слой тускло-белого грима, отчего вид у него делается совершенно мертвецкий, прервал однажды ход Французской революции и, огласив обычный ученический протест, которого всякий учитель истории ждет с урока на урок (какова цель, польза, смысл и т. д. Истории), заявил, просто и прямо, что история есть просто «сказка».

(Доставала. Провокатор. Бузотер. В каждом классе непременно есть такой. Впрочем, этот — особенный...)

«Смысл имеет только то, — продолжил он свою мысль, еще не зная, персонажами какой такой сказки окажутся вскоре его учитель истории и жена учителя истории, — что существует здесь и сейчас. Не прошлое. То, что здесь и сейчас, — и, конечно, то, что будет». *(Те же чувства, Прайс, — только ты этого*

не понимаешь, — что в 1789-м.) А затем — коснувшись вкратце двух-трех главных тем дня (афганский кризис, заложники в Тегеране, опасная и, судя по всему, неудержимая гонка ядерных вооружений) и давши вам, своим одноклассникам, повод для внезапного и пугающего выплеска общих ваших ночных кошмаров — он провозгласил, и губа у него дрожала не только оттого, что он старался тщательно артикулировать заранее (*ведь правда же, Прайс?*) обдуманые слова: «Единственное, что по-настоящему имеет смысл...»

«Да, Прайс, — единственное, что по-настоящему имеет смысл?..»

«Единственное, что по-настоящему имеет смысл в этой вашей истории, сэр, — простите, это мое личное мнение, — что она дошла до точки, после которой, может так случиться, никакой истории больше не будет».

Итак, мы закрыли учебники. Отложили в сторону Французскую революцию. Мы сказали «прости» старой заезженной сказке со всеми положенными по сюжету Правами Человека, фригийскими колпаками, кокардами, триколорами, не говоря уже о свистящем шепотке гильотин и об этой странной причуде, представлении о том, что она осчастливила мир неким Новым Началом.

И я начал, ощутивши, как по юному, но уж никак не беззаботному классу пробежал заразный сквознячок страха: «Давным-давно жили-были...»

Дети, которые наследуют мир. Дети, которым от начала веков рассказывали и рассказывают истории, по большей части на ночь, хотя и не обязательно,

чтоб остудить горячие головы; чья потребность в историях сравнима разве что с потребностью взрослых иметь детей, чтоб было кому рассказывать истории, с потребностью в слушателях для каждого конкретного собрания сказок, во внимающих ушах, в которые можно было бы лить одну за другой самые невероятные и самые притом любимые из всех волшебных сказок — истории их собственных жизней; дети — они хотят нас разлучить. Льюис проследит за этим. Простите, что-то я расчувствовался. Нет, протестовать не нужно, я этого не хочу. (Верните нам нашего Крики и весь его любимый нами треп.) Вы ведь все равно не поймете, что за тридцать два года все вы стали для меня единым целым и что теперь я познал муки матери, у которой украли ребенка. ...Но послушайте, послушайте меня. Ваш учитель истории хочет рассказать вам полную и окончательную версию...

А раз уж сказка, по законам жанра, начинается с зачина, каковые во всех лучших сказках должны быть разом весьма достоверны и совершенно нереальны, позвольте рассказать вам.

3. О Фенах

Каковые суть низинная область на востоке Англии площадью более 1200 квадратных миль; с запада их замыкают мидлендские известняковые холмы, с юга и востока — меловые холмы графств Кембриджшир, Саффолк и Норфолк. С севера Фены выходят фронтом шириною в двадцать пять миль к Северному морю, в заливе Уош. Или, вернее сказать, это Уош,

призвав на помощь силы Северного моря, из года в год пытается отвоевать бывшую свою территорию. Ибо первое и главное, что нужно знать о Фенах, — что это земля осушенная, земля, которая когда-то была водой и которая до сих пор не вполне затвердела.

Когда-то мелкие норовистые воды Уоша не кончались подле Бостона и Кингз-Линна, но уходили дальше на юг, до самого Кембриджа, Хантингдона, Питерборо и Бедфорда. Что заставило их отступить? Ответить можно одним слогом: ил. Фены родились из ила. Ил: в медленном этом звуке есть что-то ненадежное, двусмысленное, зыбкое. Ил: он формирует и подтачивает континенты; он разрушает, возводя; он разом и наносы, и эрозия; он ни прогресс, ни упадок.

Сперва его намыли с йоркширского и линкольнширского побережья береговые течения, шедшие на юг, в тогдашний, древний Уош. В черно-синей глине, которая составляет подоснову кембриджширских почв, есть илистые отложения, а в тех, в свою очередь, следы ракушек, характерных для песчаных пляжей и береговых скал северо-восточной Англии. Но к этим, первым, морским пластам добавились пласты земные, намытые реками Уза, Кем и Уэлланд, которые впадали, да и сейчас впадают, в усыхающий век от века Уош.

Ил скапливался, на нем пускали корни растения, обычные для соленых болот, потом другие растения. А с приходом растений начал образовываться торф. А торф есть вторая составляющая Фенов и источник замечательного их плодородия. Когда-то он питал обширные леса, которые исчезли, ушли на дно моря,